

Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика

1838, источник: [здесь](#). ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО. В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРИМЕЧАНИЯМИ С. А. Венгерова. ТОМ IV. 1901

ИЗДАНИЕ ПОМЕЩАЕТСЯ В книжном магазине типографии М. М. Стасюлевича. С.-Петербург, Вас. Остр., 6 линия, 28.

С приложением:

- 1) Портрета Белинского, дорисованного академиком К. А. Горбуновым после смерти Белинского.
- 2) Предисловия Михаила Бакунина к «Гимназическим речам» Гегеля.
- 3) Портрета Михаила Бакунина, рис. Митрейтером в 1843 г.

Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика

Философия! Сколько различных ощущений и мыслей возбуждает одно это слово; кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с утвердительною о том, что такое истина и в чем заключается истина? Всякий хочет иметь свою собственную, партикулярную систему; кто не думает по-своему, по своему личному произволу, тот не имеет самостоятельного духа, тот бесцветный человек; кто не выдумал своей собственной идейки, тот не гений, в том нет глубокомыслия, а нынче куда вы не обернетесь — везде встречаете гениев. И что-ж выдумали эти гении-самозванцы, какой плод их глубокомысленных идей и взглядов, что двинули они вперед, что сделали они действительного?

«Шумим, братец, шумим, " отвечает за них Репетилов, в комедии Грибоедова. Да, шум пустая болтовня — вот единственный результат этой ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную болезнь вашего нового поколения, отвлеченного, призрачного, чуждого всякой действительности; и весь этот шум и вся эта болтовня, все это происходит во имя философии. И мудрено-ли, что умный, действительный Русский народ, не

позволяет ослеплять себя этим фейерверчным огнем слов без содержания, и мыслей без смысла; мудрено-ли, что он не доверяет философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны? — До-сих-пор, философия и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой действительности были тождественны; кто занимается философией, тот необходимо протиснулся с действительностью, и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах, или вооружается против действительного мира, и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных положений его конечного рассудка и конечных целей его конечного произвола, заключается все благо человечества; и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности, не знает, что болезнь и зло заключаются не в действительности, а в нем самом, в его собственной отвлеченности; у него нет глаз для гармонии чудного божиего мира; он не способен понять истины и блаженства действительной жизни; конечный рассудок мешает ему видеть, что в жизни все прекрасно, все благо, и что самые страдания в ней необходимы, как очищение духа, как переход его от тьмы к свету, к просветлению. Да, призрачный человек не может сказать вместе с поэтом:

О, друг мой, искав изменяющих благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои:
Ты жизнь презирать научился!
С сим гибельным чувством ужасен и свет!
Дай руку: близь верного друга
С природой и жизнью опять примиришь!
О, верь мне, прекрасна вселенна!
Все небо нам дало, мой друг, с бытием:
Все в жизни к великому средство!
И горесть и радость — все к цели одной:
Хвала жизнедавцу-Зевесу!

Он не может этого сказать, потому-что жизнь его есть ряд беспрестанных мучений, беспрестанных разочарований, борьба без выхода и без конца — и это внутреннее распадение, эта внутренняя разорванность есть необходимое следствие отвлеченности и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного, и который превращает всякую жизнь в смерть. И еще раз повторяю — общая недоверчивость к философии весьма основательна, потому-что то, что нам выдавали до-сих-пор за философию, разрушает человека, вместо того, чтоб оживлять его, вместо того, чтоб образовать из него полезного и действительного члена общества.

Начало этого зла скрывается в реформации. Когда назначение папизма — заменить недостаток внутреннего центра внешним центром — кончилось, когда он потерял ту внутреннюю, чисто-духовную силу, которую он сосредоточивал в себе столько разнородных элементов европейской жизни: тогда разрушилось это великолепное здание его безграничного могущества, и последняя мера его, индульгенции, была уже явным признаком разрушения. Реформация потрясла папский авторитет, но вместе потрясла и

всякий другой авторитет и дала повод к бесконечным исследованиям, во всех сферах жизни. Сюда принадлежит возрождение эмпирических наук и философии. Эмпирические науки, ограниченные созерцанием конечного мира, мира, доступного конечности чувственного, внешнего и внутреннего созерцания, быстро подвигались вперед и в короткое время ознаменовались блистательным успехом; по вне конечного мира лежала еще другая сфера, недоступная чувственному созерцанию — сфера духа, абсолютного, безусловного, и эта сфера сделалась предметом философии. Пробужденный ум, освободившись от пеленок авторитета, не хотел более ничего принимать на веру, и отделившись от действительного мира и погрузившись в самого-себя, захотел вывести все из самого-себя, найти начало и основу знания в самом-себе.

«Я мыслю, следовательно я существую»

Вот чем начала новая философия в лице Декарта; сомнение во всем сущем, опровержение всего, что до-сих-пор было известно и достоверно не путем философского познания: вот чем должен был начать всякий, кто только посвящал себя философия; и это, вместе с главным началом опытного знания, эмпиризма, которое заключается в том, что всякое знание необходимо обуславливается непосредственностью присутствия познающего, составило главный характер ума, освобожденного реформацией от папского авторитета, характер, который преимущественно выразился в XVIII веке, в двух различных, друг другу противоположных и друг с другом неразрывно связанных сферах, в теоретической и практической, в философии Канта, Фихте, Якоби, в Германии, и в эмпирических философствованиях и рассуждениях Вольтера, Руссо, Дидерота, д'Аламберта и других французских писателей, облекших себя в громкое и незаслуженное название философов. Но ум человеческий, только что пробудившийся от долгого сна, не мог вдруг познать истину: действительный мир истины был не по силам ему, он еще не дорос до него, и должен был необходимо пройти через долгий путь испытаний, борьбы и страданий, прежде чем достиг своей возмужалости; истина не дается даром, нет, она есть плод тяжких страданий, долгого мучительного стремления. Да, страдание есть благо: оно есть то очистительное пламя, которое преображает и дает крепость духу; страдание есть воспитание, разумный опыт духа, и дух, не получивший этого воспитания, не очищенный и не освященный страданием есть не более, как дитя, которое еще не жило, и которому предстоит еще жизнь со всеми ее горестями и радостями. Кто не страдал, тот не знает и не может знать блаженства исцеления и просветления силою благодатной любви, которая есть источник жизни, и вне которой нет жизни.

XVIII век был век второго падения человека в области мысли; он потерял созерцание бесконечного и, погруженный в конечное созерцание конечного мира, не нашел и не мог найти другой опоры для своего мышления, кроме своего Я, отвлеченного, призрачного, когда оно находится во вражде с действительностью. Канту пришла в голову странная мысль — поверить способность познания, прежде приступления к самому познанию. Эта проверка составляет содержание его «Критики чистого разума»; но спрашивается, какое-же другое орудие употребил он для проверки познавательной способности, как не эту-же самую познавательную способность? Началом всякого познания он признает первоначальное тождество Я в мышлении. Представления, данные в чувстве и созерцании, многообразны по своему содержанию, но по формам своим, по пространству и времени принадлежать к

чистому чувственному созерцанию чистого Я; соединение этого многообразного в сознании чистого Я производится также посредством чистых форм рассудка, посредством категорий; но категории эти приложимы только к явлениям, данным в чувственном созерцании, и следовательно, рассудок может познавать только явления конечного мира, потому-что абсолютное и безусловное, неподлежащая условиям пространства и времени недоступны для чувственного созерцания. Прилагая свои категории к безусловному, и решая все вопросы, принадлежащие к этой сфере по закону необходимости, чистый рассудок впадает в антиномии, в противоречие, в утверждение двух совершенно противоположных положений — итак, мир чистого рассудка есть мир конечных явлений, и что познает он в этих явлениях? Пространство и время, необходимо обуславливающие всякое явление, принадлежат не к познаваемому предмету и суть ни что иное, как чистые формы чувственного созерцания, формы, принадлежащая к познающему Я; различия между предметами принадлежат также не предметам, а суть ни что иное, как чистые формы рассудка: что-ж остается в познаваемом предмете — отвлеченность, вещь сама-по-себе! Фихте, система которого есть логическое и необходимое продолжение критической системы Канта, уничтожил и этот последний призрак внешнего существования, доказав, что вещь, сама-по-себе есть также произведение, проявление чистого Я, и весь; внешний мир, вся природа была объявлена призраком; действительно только Я, все-же остальное — призрак; всякое определение, всякое содержание должны были уничтожиться пред этим отвлеченным, пустым и, по мнению Фихте, абсолютным тождеством: Я=Я? Итак, результатом философии рассудка, результатом субъективных систем Канта и Фихте, было разрушение всякой объективности, всякой действительности, и погружение отвлеченного, пустого Я в самолюбивое, эгоистическое самосозерцание, разрушение всякой любви, а следовательно, и всякой жизни и всякой возможности блаженства, потому-что любовь только там, где два, друг другу внешние предмета, соединяются в одно, силою понимания, не переставая быть различными, а не там, где один отвлекает от другого и погружается в самосозерцание. Такое самосозерцание есть источник адских мук, нестерпимых страданий, потому-что где нет любви, там страдание. Но Германской народ слишком силен, слишком действителен для того, чтобы сделаться жертвою пустого призрака; подобная философия есть разрушение религии и искусства, а религиозное и эстетическое чувство были в нем слишком глубоки и спасли его от этого отвлеченного и безграничного уровня, который потряс и чуть-было не уничтожил Франции кровавыми и неистовыми сценами революции. Из этого страшного состояния безразличной и пустой субъективности было два выхода: или отказаться от мышления и броситься в другое, еще худшее отвлечение — в непосредственность своего субъективного чувства, или разрешить это ужасное противоречие в области самого мышления: первое сделал Якоби, а второе Шиллер. Результатом системы Якоби было то, что Гегель называет прекраснодушием (Schönseeligkeit) и что-бы можно было также назвать самоослаблением: это прекрасная, но бедная, бессильная душа, погруженная в созерцание своих прекрасных и вместе бесплодных качеств и говорящая фразы не потому, чтоб она хотела говорить фразы, а потому, что живое слово есть выражение живой действительности, и выражение пустоты необходимо должно быть также пусто и мертво. Шиллер, как ученик Канта и Фихте, вышел также из субъективности, которая явно выразилась в двух прекраснодушных драмах его: «Разбойники» и «Коварство и любовь», где он восстает против общественного порядка. Но богатая субстанция Шиллера вынесли его из отвлеченности, из этого мира пустых призраков, и каждый новый год его жизни был шагом к примирению с действительностью: в

своем сочинении об эстетическом воспитании, он положил первое основание разумного философского начала, как конкретного единства субъекта и объекта. Шеллинг возвел это единство до абсолютного начала, и наконец система Гегеля венчала это долгое стремление ума к действительности:

Что действительно, то разумно

и

Что разумно, то действительно.

Вот основа философии Гегеля, основа, которая нашла еще много противников между призрачными современниками великого берлинского философа, а особенно возбудили негодование в рядах этой смешной юной Германии которая хотела переделать свое умное отечество по своим детским фантазиям.

Обратимся теперь к Франции и посмотрим, каким образом проявилось в ней это разъединение Я с действительностью. Французы, исключая Декарта и Малебранша, никогда не возвышались до спекулятивного мышления, до умозрения; так называемая философия XVIII века была непосредственным результатом эмпирических исследований; рассуждения Французов никогда не выходили из конечных категорий рассудка, только с тою разницею, что Немцы, этот по преимуществу умозрительный народ, возвысились над эмпиризмом в отвлеченный элемент чистого рассудка, и потому скоро сознали конечность и неспособность его охватить безусловное, абсолютное, и это сознание конечности рассудка было знаком возвышения в высший элемент мышления, в разум, который разрешает в себе противоречия. Французы-же никогда не выходили из области эмпирических, произвольных рассуждений, и все святое, великое и благородное в жизни упало под ударами слепого мертвого рассудка. Результатом французского философизма был материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во Французском народе исчезла последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непроходящее доказательство любви Творца к творению, сделалось предметом общих насмешек, общего презрения, и бедный рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что только было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все действительное. — Он требовал ясности, но какой ясности! не той, которая лежит в глубине предмета, нет! а на поверхности его; он вздумал объяснить религию — и религия, недоступная для конечных усилий его, исчезла и унесла с собою и счастье и спокойствие Франции; он вздумал превратить святилище науки в общенародное знание — и таинственный смысл истинного знания скрылся и остались только одни пошлые, бесплодные, призрачные рассуждения, и Жан Жак Руссо объявил, что просвещенный человек есть развращенное животное, и во Франции произошло, и должно было необходимо произойти, в практической сфере то, что в Германии произошло в теоретической: революция была необходимым последствием этого духовного развращения. Где нет религии, там не может быть государства, и революция была отрицанием всякого государства, всякого законного порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть несколько возвышалось над бессмысленной толпой. Наполеон остановил революцию и восстановил общественный порядок, но он не мог излечить главной болезни Франции: он не возвратил ей религиозного чувства: а религия есть субстанция,

сущность жизни всякого государства. И этот недостаток религии есть главная, внутренняя причина призрачности ее теперешнего состояния. Я знаю, что не должно произносить решительных суждений о каком-нибудь народе; если можно ошибиться осуждая человека, то тем возможнее эта ошибка, когда дело идет о целом народе, которого субстанция глубже и таинственнее, чем субстанция одного частного человека; но если мы станем судить по фактам, то должны будем заключить, что у Французского народа нет эстетического чувства. Посмотрите на оба момента Французской поэзии, на классицизм и на романтизм, и вы увидите, что в этих двух противоположностях есть одно общее отсутствие истинной поэзии, французский классицизм не есть тот греческий классицизм, по преимуществу прекрасный, пластический, спокойный и ясный, как верное отражение прекрасного и светлого мира Греков: нет, это есть бедное и жалкое подражание древним, это есть перенесение живого и вечно-юного не в эстетическую субстанцию целого народа, а во вкус маленького, развращенного, гнилого кружка, лишенного того чувства бесконечного, которое составляет необходимое условие всякой поэзии, и вот почему простой мир Греков преобразился во Франции в чопорное жеманство, в пошлую, холодную чувствительность и в отсутствие всякой простоты и естественности. — Революция перевернула Францию, и она перешла из одной непросветленной односторонности в другую противоположную ей и точно также непросветленную односторонность: в романтизме ее точно такое-же отсутствие поэзии, как и в классицизме; классицизм был гнилым проявлением маленького исключительного кружка, романтизм-же есть проявление целой непросветленной и неодоухотворенной толпы; и вот почему новая литература Франции наполнена кровавыми и соблазнительными сценами, и вот почему она также наполнена фразами, с тою только разницею, что фразы ее классицизма были чопорны и жеманны, а фразы ее романтизма неистовы: где нет созерцания бесконечного, там необходимо должны быть фразы, а где нет живой религии, там не может быть созерцания бесконечного. Французы из жеманства впали в естественность, но не в одухотворенную, не в просветленную естественность, а в отвратительную естественность мяса. И мудрено-ли, что при таком отсутствии религиозного и эстетического чувства, которые составляют живую сущность народа, мудрено-ли, что Франция впадала в такое болезненное, в такое мучительное состояние? Вся жизнь Франции есть ни что иное, как сознание своей пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем-бы то ни было, и все средства, употребляемый ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны, потому-что истинные бесконечные средства лежат в религии, в святом откровении божием — в христианстве — а они не знают и не хотят знать христианства: им нужно новое, по словам их безбожного патриарха, Вольтера, который говорил:

Il nous faut du nouveau n'en fut-il plus au monde.

Находясь вне христианства, они чувствуют потребность религии, и стараются выдумать свою религию, не зная, что религия не от рук человеческих, а есть откровение божие, и что вне христианства нет, и не может быть, истинной религии: вот источник смешного сенсимонизма и других религиозных сект, если их только можно назвать религиозными. Французы бросаются в философию, заимствуют у Англичан, у Немцев и потому-же самому недостатку бесконечной субстанции превращают философию и всякую истину в пустые, бессмысленные фразы, в произвольность и анархию мышления и в стряпанье новых идей. — Нового, нового, старое нам надоело: вот общий девиз юной Франции, и это беспрестанное стремление от пустого старого к пустому новому, есть источник моды, одной

постоянной богини Французов, и они приносят ей в жертву все, что только есть святого, истинно великого в жизни. — И много, много еще пройдет времени до тех пор, пока Франция не сделается тою великою нациею, какою она себя воображает.

Но болезнь Франции не ограничилась Франциею; это отсутствие религии, эта внутренняя пустота, эта *philosophie du bon sens*, распространились далеко за границею ее и составили общую болезнь XVIII века. Болезнь страшная, мучительная, выход из которой есть сознание своей бесконечной пустоты, и великий Байрон был поэтическим выразителем этого сознания, этого мучительного перехода от XVIII века к XIX-му, от болезни к выздоровлению. Его поэзия есть вопль отчаяния, раздирающий вопль страдающей души, погруженной в созерцание своей пустоты и своего равнодушия ко всему, что есть святого и прекрасного в жизни — это есть глубокая потребность любви, делающая его неспособным привязаться к конечным благам мира сего, и неспособность возвыситься над конечностью и над призрачностью ледяного мира всеумерщвляющего рассудка. — И выход, единственно для него возможный, есть стоицизм, окаменение и насильственное равнодушие пустого Я; жалкий, бедный выход в сравнении с тем, который нам предлагает наша божественная религия, в сравнении с выходом в просветлении посредством и силою благодатной любви, изцеляющей все раны стремящегося и жаждущего человека.

Эта болезнь распространилась, к несчастью, и у нас; несмотря на благородные усилия Жуковского и некоторых других писателей, познакомить нас с германским миром, мы почти все воспитаны на французский манер, на французском языке и французскими мыслями. Нападки на французских гувернеров будут не новостью: какомунибудь портному или сапожнику, выгнанному из Франции голодом, потому-что он и свое ремесло худо знает, поверялось воспитание детей.

Мы все учились понемногу,
Чемунибудь и как нибудь:
Так просвещеньем, слава Богу,
У нас не мудрено блеснуть.

И эта односторонность, эта пустота нашего домашнего воспитания, есть главная причина призрачности нашего нового поколения. Вместо того чтоб разжигать в молодом сердце искру божью, положенную в него самим провидением; вместо того чтоб пробуждать в нем глубокое религиозное чувство, без которого жизнь не имеет, и не может иметь, никакого значения, и превращается в бессмысленное прозябание; вместо того чтоб образовать в нем глубокое эстетическое чувство, которое спасает человека от всех грязных, непросветленных сторон жизни: вместо всего этого, его наполняют пустыми, бессмысленными французскими фразами, которые убивают душу в ее зародыше и вытесняют из нее все, что в ней есть святого, прекрасного. Вместо того чтоб приучать молодой ум к действительному труду; вместо того чтоб разжигать в нем любовь к знанию, и внушать ему, что знание есть само-себе цель, есть источник великих, неистощимых наслаждений, и что употребление его как средство для блистания в обществе, есть святотатство: его приучают к пренебрежению трудом, к легковёрности, к пустой, блестящей болтовне обо всем. — И мудрено-ли, что подобное воспитание образует не крепкого и действительного Русского человека, преданного Царю и отечеству, а что-то такое среднее, бесцветное и бесхарактерное? И еще

раз повторяю: вот источник нашей общей болезни, нашей призрачности! Разверните, какое вам угодно, собрание русских стихотворений, и посмотрите, что составляет, а особенно составляло пищу для ежедневного вдохновения наших самозванцев-поэтов: бессильное и слабое прекраснодушие. Один объявляет, что он не верит в жизнь, что он разочарован; другой, что он не верит дружбе, третий, что он не верит любви, четвертый, что он хотел-бы сделать счастье своих собратий людей, но что они его не слушают и что он от того очень несчастлив. — Но оставим этих призрачных поэтов призрачного самоослабления и обратим свое внимание на великого Пушкина, на этого чисто русского гения, рассмотрим главные моменты его жизни — и мы увидим в его развитии удивительную логическую последовательность. Он также получил ложное, призрачное воспитание, и был некоторое время в том состоянии, которое он так ясно, так могущественно описал в своем «Онегине»; он также начал прекраснодушною борьбою с действительностью, и прошел через долги и мучительные испытания. Борьба и примирение с действительностью дорого стоили ему: борьба с действительностью должна была повергнуть его в отчаяние, потому-что действительность всегда побеждает, и человеку остается или помириться с нею и сознать себя в ней и полюбить ее, или самому разрушиться — и посмотрите, как было глубоко отчаяние Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем оковал?...
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Но Пушкин не мог долго оставаться в этой призрачности: его гениальная субстанция вырвала его из этой бесконечной пустоты духа, и насильно вела его к примирению с действительностью.

За этим отчаянием, за этою сухостью духа, последовала тихая, благотворная грусть, как светлый лучь неба, как вестница очищения и просветления, и он выразил свое преобразование в этих прекрасных стихах:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальной
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Да, грусть есть начало просветления духа: она освежает душу, она есть начало веры. начало любви; грусть есть начало выздоровления, и Пушкин скоро выздоровел: в то самое время, как все думали, что его поэтический гений угас, потух, под тяжестью светских забот, он совершал свое великое примирение с действительностью, и его последние произведения, напечатанные в «Современнике», торжественно доказывают это.

Да, счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же; примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны, что в знании царствует строгая дисциплина и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится наконец с нашею прекрасною Русскою действительностью, и что, оставив все пустые претензии на генияльность, оно ощутит наконец в себе законную потребность быть действительными Русскими людьми.

Гегель восстает против самолюбивой и смешной уверенности нашего времени, что можно быть философами и учеными без всякого труда и усилия; говорит, что эта глупая уверенность, завлекая слабых людей, отрывает их от всякого другого поприща, на котором они могли-б быть действительными и полезными людьми. Для доказательства этого, мы перевели три речи из говоренных им на публичных актах Нирембергской гимназии, из которых одна, по распоряжению редакции, помещается здесь, а другая предназначается для следующей книжки «Наблюдателя».

Михаиль Бакунин.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 21 июня 2025 21:13:32

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 21 июня 2025 21:28:42